

Константин Зарубин

Рыжая Фрея История теорий дождя



Константин Зарубин

**Рыжая Фрея. История
теорий дождя**

«Издательские решения»

Зарубин К.

Рыжая Фрея. История теорий дождя / К. Зарубин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901848-9

Три сказки для взрослых детей о тайнах вселенной и смысле жизни. Одна сказка исландская: о скрытом народе, рыжей лошадке по имени Фрея и девушке по имени Катла, которая хотела изучать звёзды. Другая сказка российская: о том, как Аля Зайцева встретила за границей погибшую родственницу, которой досталась запасная жизнь. Третья сказка греческая: об очень странном случае из жизни философа Фалеса Милетского.

ISBN 978-5-44-901848-9

© Зарубин К.
© Издательские решения

Содержание

Рыжая Фрея	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Рыжая Фрея История теорий дождя

Константин Зарубин

Иллюстратор Наталья Ямщикова

Фотограф Меган Кейс

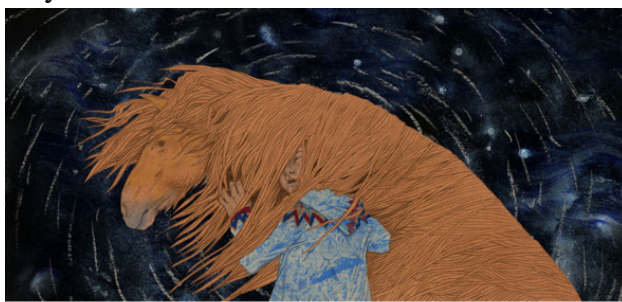
© Константин Зарубин, 2018

© Наталья Ямщикова, иллюстрации, 2018

© Меган Кейс, фотографии, 2018

ISBN 978-5-4490-1848-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Рыжая Фрея

Исландская сказка для взрослых детей

Мы объезжали Исландию по часовой стрелке. Третью ночь хотели провести в Акюрейри, но все гостиницы и hostels были переполнены. Мы проехали ещё полсотни километров на север по левому берегу фьорда и нашли комнату в белом двухэтажном доме с пёстрыми половичками, скрипучими лестницами и тюлевым балдахином над кроватью. В туалете красовалось белое кресло с резными ручками. Примерно так я всегда представлял себе жилище небедной пожилой тётушки, у которой в юности сбежал из-под венца жених, и осталась она одна на всю жизнь, с разбитым, но добрым сердцем.

Посёлок называется Дальвик. Живёт в нём почти полторы тысячи человек, что, по исландским меркам, довольно много. У опрятного причала стоят рыболовецкие суда. По улицам растекается густой запах свежего улова. Если не слишком пасмурно, отовсюду видны клочки снега на вершинах приземистых гор, окаймляющих фьорд.

Из Дальвика ходит паром на остров Гримсей, самый северный обитаемый кусок Исландии. На некоторых картах Гримсей не видно из-под линии Полярного круга.

В гостиницу, похожую на дом одинокой тётушки, мы заселились уже в девятом часу. Перекусили на общей кухне, в компании французов, ехавших против часовой стрелки. В комнате жена задёрнула занавесками июльское солнце, которое не желало садиться, забралась под балдахин и мгновенно уснула. У нас был дерзкий план встать в шесть тридцать и всё на свете успеть.

Я, несмотря на усталость, заснуть никак не мог. Полчаса ворочался с боку на бок, думая о работе и других неприятностях. В конце концов оделся, взял камеру и пошёл гулять по посёлку.

Пока я поднимался к местной церкви, навстречу с горы спустился туман, и толком поспинать у меня не получилось. Я побродил по детской площадке, оказавшейся рядом. Горки и лесенки, сколоченные из неотёсанных сучьев, выглядели так, словно их ставил личный плотник Бабы Яги.

Уже возвращаясь в гостиницу, я обнаружил, что один из двух баров посёлка открыт. На тротуаре стоял знак с надписью «MEAT SOUP» под бараньей головой, а из приоткрытой двери доносился тихий рок-н-ролл и запах жареной картошки. Бармен, скучавший у стойки, заметил меня за окном и помахал рукой, широко улыбаясь.

После блужданий в холодном тумане пройти мимо всего этого было выше моих сил.

Я вошёл и попросил горячего чая и полтарелки супа. Зал был совсем маленький, но женщину в углу я заметил, только когда она сказала «добрый вечер» прямо у меня за спиной. Вздвогнув, я шумно обернулся вместе со стулом и поздоровался в ответ. Извинился, что не увидел её.

– Так настроился на роль единственного посетителя... – я постарался виновато улыбнуться.

– Вы здесь ни при чём, – сказала женщина со странной усмешкой. – Не надо извиняться.

Она говорила по-английски со скандинавским акцентом – не исландским, без шелестящих призывов, но шведским или норвежским. За годы работы в Скандинавии я стал узнавать такой выговор на втором-третьем слове.

– ... Вы из Швеции?

Обескураженный её усмешкой, я не нашёл, что ещё сказать.

– Почти, – ответила она. – Из Норвегии. А что? Похожа на шведку?

Она выпрямилась и прислонилась спиной к обшитой деревом стене, словно приглашая меня разглядеть её как следует. Ей было лет сорок пять, судя по обветренному, суховатому лицу с красивыми морщинками, или пятьдесят пять – если верить осунувшимся рукам, распластанным на столе вокруг бокала с красным вином. Светлые волосы были собраны в небрежный пучок на затылке. Тонкая прядь, не попавшая в пучок, спадала до груди, на исландский свитер с ломаным узором и ромбиками.

– Ну, может, чуть-чуть... – замялся я, перескочив на шведский. – Я имею в виду... Я-то сам не...

– Меня зовут Марит, – представилась она по-норвежски.

Я представился в ответ и пожал протянутую руку, привстав со стула. Потом сел обратно, по-прежнему вполборота.

– ... Составишь мне компанию? – Марит кивнула на свободную половину угловой скамьи у своего столика.

В её приглашении не было особого энтузиазма, да и мне, если честно, в тот момент больше хотелось супа, чем дежурных разговоров с незнакомцами. Но деваться было некуда. Я пересел к ней. Минут десять мы обменивались банальностями об исландской погоде, горячих бассейнах и, кажется, о пароме на Гримсей. Бармен между тем принёс мой суп, затем огромную чашку чаю и новый бокал вина для Марит. Ещё минут через пятнадцать я понял, что уже изложил Марит все факты своей биографии, предназначенные для случайных знакомых, а она до сих пор не рассказала даже, когда и на сколько дней приехала в Исландию.

При этом я мог поклясться, что напрямую спрашивал её и об этом, и о работе, и о месте жительства в Норвегии. И всякий раз она уходила от ответа с поразительной, почти гипнотической сноровкой.

– Ты, случаем, не политик? – спросил я в лоб.

– Политик?..

Несколько секунд Марит в замешательстве смотрела на меня. Потом расхохоталась глухим, горьковатым смехом.

– Нет, – она покачала головой, отсмеявшись. – Я не политик.

Я молчал, ожидая продолжения.

– Я была писателем, – сказала она наконец. – Была журналистом. Была бухгалтером, учителем, продавцом, ... – она закончила список норвежским словом, которое я не разобрал.

– Как интересно, – сказал я.

Марит отпила большой глоток вина. Подалась вперёд. Посмотрела мне в глаза, прищурившись, словно хотела разобрать мелкую надпись на другой стороне улицы.

– Я была человеком, – прошептала она.

От её взгляда и шёпота мне стало не по себе. Я покосился на бармена. Тот стоял за стойкой и копался в телефоне, дёргая подбородком в такт музыке. Играло бодрое кантри с исландским текстом.

– А теперь? – спросил я.

– Теперь... – Марит сделала ещё один глоток. Её глаза продолжали высматривать что-то внутри моей головы. – Теперь я ни то ни сё. Смотри сам.

Она встала так внезапно, что я вздрогнул.

Бармен оторвался от телефона. Марит подошла к стойке, расплатилась наличными и вышла из бара, громко попрощавшись сначала с барменом, а затем со мной. На улице она повернула налево и скрылась из виду. Я секунд пятнадцать ошалело смотрел на дверь, закрывшуюся за ней.

Когда я перевёл взгляд на бармена, тот уже уткнулся обратно в телефон.

Мне оставалось только сделать вывод, что у Марит кризис среднего возраста или не все дома. Я допил чай, предвкушая, как утром буду пересказывать эту сцену жене. Но едва я собрался платить, как у меня над ухом вкрадчиво произнесли по-норвежски:

– Добрый вечер.

Я дёрнулся, как ошпаренный. Марит сидела на своём прежнем месте, словно никуда не уходила. Она держала в руке бокал вина, который не удосужился убрать бармен, и смотрела на меня с той же жутковатой усмешкой, что и в начале нашего знакомства.

– ... Добрый вечер, – пробормотал я. – Опять я тебя совсем не заметил...

Бармен посмотрел в мою сторону.

– Прошу прощения? – улыбнулся он.

– Ээээ...

– Он не видит меня, – сказала Марит. – Смотри.

Она снова встала и подошла к стойке.

– Вы хотите заплатить? – спросил бармен, по-прежнему обращаясь ко мне.

Марит стояла буквально в метре от него. Она махала руками, хлопала в ладоши, пару раз присвистнула и даже спела куплет бойкой норвежской песни. Бармен и ухом не повёл. Не дождавшись от меня никакой реакции, он снова улыбнулся, коротко и равнодушно, и вернулся к телефону.

– Привет, – сказала Марит, глядя на него.

Голова бармена подскочила, как мячик.

– Привет, – сказал он, не успев улыбнуться. – Вы что-то забыли?..

Марит объяснила, что забыла допить вино, взять ещё бокал, а также угостить своего русского друга исландской водкой. Большим пальцем она показала на меня. Я вяло запротестовал из угла. Я ещё надеялся встать в шесть тридцать со свежей головой, готовой на подвиги. Да и никакого дополнительного дурмана после фокусов Марит мне не требовалось.

Она всё же взяла мне водки, и я пригубил её – то ли ещё из вежливости, то ли уже из страха перед неизвестностью, которая сидела передо мной в лице норвежской женщины-невидимки. Её выступление перед стойкой ещё можно было объяснить сговором с барменом, дурацким розыгрышем. Но появление на скамье в полуметре от меня, как будто из воздуха... Я смотрел на неё, ожидая объяснений.

И, на свою беду, дождался.

Что это не человек, я поняла сразу

Стоит всего лишь закрыть глаза. Тогда я вижу Марит, как будто наша встреча была вчера.

Вот она смотрит на меня. Её обветренные губы шевелятся, веки смыкаются, размыкаются, волосы вздрагивают, увядшие руки обнимают бокал. Я слышу характерную взлетающую интонацию, от которой шведам кажется, что норвежцы вечно чему-то рады. Я слушаю историю Фреи. Невольно запоминаю каждую второстепенную мелочь, и у меня уже ноет в груди, а порой и перехватывает дыхание, потому что я уже знаю, что никогда не смогу рассказать эту историю единственно верными словами на своём языке.



Случайными же словами, если сковать их в необязательные предложения, может получиться и так:

– Я была писателем, – повторила Марит после долгого молчания. – Моя фамилия Хенриксен. Марит Хенриксен. Я написала два романа: один про школьного учителя, другой про бухгалтера в крупной государственной организации. Выпустила сборник рассказов о буднях в доме престарелых. Рассказы принесли мне известность. В Норвегии сборник расхвалили не хуже Стига Ларссона. Его перевели на семь языков, включая русский. Критики захвалили меня до неприличия.

После сборника я попала в бородатый анекдот про писателя, которого подкосила слава. Успех связал мне руки. Моей дочери тогда было девять, и я мечтала написать книгу для детей. Настоящую книгу для детей, без сюсюканья, без игривой фальши. Я хотела, чтобы эту книгу читали и взрослые. Чтобы выросшие дети возвращались к ней и находили сразу оба мира. Светлую сказку с отважными героями и счастливой развязкой. Щемящую, чеховскую боль о том, что не бывает в жизни ни героев, ни развязок.

Я перебрала десятки сюжетов. У меня в компьютере скопилось тридцать два забракованных начала. Всё казалось слишком пустячным, слишком дешёвым. Марит Хенриксен, надежда норвежской литературы, не могла размениваться на такие басенки.

Так прошло больше двух лет. Я продолжала работать журналистом, и мой издатель в конце концов посоветовала мне развеяться. Написать что-нибудь нехудожественное. Какую-нибудь публицистику. А там, глядишь, идеальный сюжет отыщется в голове сам. Я согласилась. Попросила тему. Она полистала свежий номер *Morgenbladet*, лежавший на столе, ткнула пальцем в фотографию исландцев с плакатами у здания альтинга и сказала: «Исландия. Жизнь после банкротства».

Через несколько недель, в конце мая, я прилетела в Рейкьявик. Я пробыла в Исландии до сентября и действительно написала репортаж на двести страниц о стойкой маленькой стране, которую чуть не пустила по миру кучка заигравшихся банкиров. Вышло трогательно и хлётко, и первый осторожный тираж пришлось допечатывать дважды.

Впрочем, это не имеет значения. Целый год после возвращения в Осло я просто дожидая остаток прежней жизни. Мне казалось, я смотрю вырезанные сцены из триллера, который только что кончился. Титры прошли, ты знаешь финал, задним числом видишь дыры в сюжете, и ужимки актёров больше не выглядят многозначительными.

Меня подменили в середине моего исландского лета. Двадцать восьмого июля. В тот день я добралась до родной деревни своего деда по матери. Она на восточном берегу соседнего фьорда. Вон там, за горами.

Дед родился в семье рыбака, но с детства обожал механизмы. В двенадцать лет починил часы заезжего священника из Сиглюфьордюра – тот разбил их, свалившись с лошади, да так и бросил. Когда деду было семнадцать, местная рыболовецкая артель арендовала первую шхуну с мотором. Мотор тут же сломался. Пока артель вызывала инженера из Акюрейри, дед

ночью забрался на шхуну и тайком всё наладил. В конце концов, несколько лет спустя, артель вкладчину отправила деда в Копенгаген – учиться в университете.

Деревня долго ждала возвращения своего первого учёного сына. Не дождалась. В Копенгагене дед встретил мою бабушку. Они поженились и накануне войны переехали в Берген. После освобождения дед принял норвежское подданство. До самой смерти он так и не вернулся в Исландию.

Моя мать никогда особенно не интересовалась исландской роднёй. Из двух сотен жителей дедовской деревни не меньше четверти так или иначе приходится нам прямыми родственниками, но я не знала никого из них. Остановилась в единственной гостинице. Сомневалась даже, стоит ли вообще распространяться о своих корнях во время бесед с местным населением. Как-никак, дед надул всю деревню, думала я. Вряд ли его вспоминают с теплотой.

Вечером, после ужина в обществе американской семьи – она тоже приехала поглазеть на землю предков – я планировала поработать. Написала пару абзацев, но слова не шли. В голове была звенящая пустота. Не от усталости, нет – скорее, от ожидания известий, после которых всё равно придётся писать заново.

Из своего номера на втором этаже я видела ручей, рассекавший деревню надвое. Даже в деревне, между домами, над водой висели клочья тумана, а ближе к подножию холмов ручей и вовсе исчезал под матовой пеленой. При этом вершины холмов ещё горели в свете заходящего солнца. На одной из них стояла какая-то постройка, похожая на маяк. Я захлопнула ноутбук, оделась и отправилась её разглядывать.

На ногах у меня были резиновые сапоги, и я потопала к холмам вдоль ручья, напрямик, рассчитывая рано или поздно выйти из тумана. Там, где идти по берегу мешали булыжники, я брела прямо по воде. Ручей был совсем мелкий.

Туман становился всё гуще. Вскоре радиус видимости сузился метров до семи. Как бывает в таких случаях, мне стало казаться, что мир сжался и опустел, в нём больше не было ни деревни, ни гор, ни неба, осталась только я и бесконечный ручей, вилявший среди камней и травы.

Угол подъёма почти не увеличивался, но берега росли и делались круче. Я поняла, что ручей, скорее всего, вытекает на равнину из ущелья и вряд ли выведет меня из тумана, а то и проведёт мимо холма, на который я хотела забраться. Я остановилась в нерешительности. Холм с непонятной постройкой должен был находиться слева, но карабкаться в тумане по каменистому ущелью было боязно. С другой стороны, я была почти уверена, что метров через тридцать-сорок выше по склону туман кончится, а сам склон станет более пологим.

Когда я наконец решилась и шагнула по воде в сторону левого берега, меня окликнули.

От неожиданности я чуть не потеряла равновесие. Оклик повторился, громче и отчётливей. Кто-то выше по течению говорил мне «добрый вечер» по-исландски. «Добрый вечер», – ответила я, тщетно вглядываясь в белёсый сумрак. Я сделала несколько шагов в сторону голоса, ожидая, что из тумана вот-вот покажется стоящая фигура. Потом опустила глаза и вскрикнула.

Тот, кто поздоровался со мной, лежал в воде, навзничь, почти перегородив ручей. Что это не человек, я поняла сразу – по выпуклым, чудовищно круглым глазам. Они напоминали глаза обезьянки-капуцина, но были больше, намного больше. В самом лице не было ничего обезьяньего, это было лицо человека, но не взрослого человека. У него были детские пропорции.

Представь себе голову трёхлетнего ребёнка, курносого мальчика откуда-нибудь с Ближнего Востока. Увеличь раза в два, добавь огромные глаза-сливы, добавь многодневную щетину на щеках, на подбородке, на вздёрнутой верхней губе, добавь жёсткую тёмную шерсть вместо волос, вообрази, как из этой шерсти торчат детские уши, подёрнутые бурым пушком. Посади всё это на толстую шею, тоже пушистую. Существо, которое меня окликнуло, выглядело именно так.

Я перепугалась бы до смерти, если бы тело, увенчанное этой жуткой головой, не было наряжено чёрт знает во что. Первой в глаза бросилась шерстяная юбка с кружевной каймой – серая, не по размеру большая. Под юбкой темнели женские шаровары с какой-то мишурой на голени. На одной ноге полосатый носок всех цветов радуги, на другой – обрывки чулка в крупную сетку. На туловище розовая велюровая кофта – она была расстёгнута и трепыхалась в бегущей воде. Под кофтой футболка для туристов с надписью по-исландски: «Не имею понятия, что написано на этой футболке».

– Помоги мне, – сказала существо. Голос был высокий, но не детский. Скорее, женский. Чистый, твёрдый голос взрослой женщины.

Я стояла, разинув рот, и глядела в круглые глаза, регулярно исчезающие под огромными гладкими веками. По краешку век завивались густые ресницы.

– Помоги мне, – повторило существо.

Оно сказала ещё два коротких предложения, на которые моего исландского уже не хватало. Я машинально спросила, говорит ли оно по-английски. Тут же почувствовала себя идиоткой. Ну как вот это вот могло говорить по-английски? По-исландски ещё куда ни шло, исландский – официальный язык эльфов, троллей и прочей нечисти, но по-английски?

«I am inshurrret», ответило существо с раскатистым акцентом. «I got srrrown off the hilll. I sink I brroke my spine. Helllp me».

Только тогда я заметила, что одна рука существа неестественно вывернута, а из-под шерстистой головы по дну ручья бежит тоненькая струйка крови. Я подошла ещё ближе. Разумеется, я хотела помочь, я собиралась помочь, но я не представляла, что делать с переломом позвоночника. Ничего не трогать, вызвать скорую, сидеть рядом и ждать специалистов? Какую ещё помощь я могла оказать?

Снова чувствуя себя идиоткой, я достала из кармана телефон. Предложила вызвать врача.

«No», сказала существо. «Shust drrrag me upstrream».

Поколебавшись несколько секунд, я всё-таки решила возразить ему. Сказала, что в его состоянии такой способ транспортировки равносильен самоубийству. Для верности прибавила, что не уверена в своих силах. Что вряд ли сумею утащить его далеко.

«I am verrry lllight. You can easssily carry me. I willl not die on you, I prrrromise. I am not frrrail. Not lllike you humans».

Я закивала. Сказала, что не сомневаюсь в его нечеловеческой природе. Что охотно верю в его нечеловеческую выносливость. Предложила сбегать за какими-нибудь нечеловеческими сородичами. Позвать их на помощь.

«If you helllp me, I willl grrrant you a wish», перебило меня существо. «Yourrr biggest wish. Yourrr storrry».

«My story?» переспросила я.

Я не сразу поняла, о чём оно. Сначала вспомнила о своём репортаже. Меня уже не смущало, что глазастое чудище в исландском ручье осведомлено о моей работе. Наверное, оно предлагает мне описать этот эпизод, подумала я. Оттенить публицистику магическим реализмом.

«Yourrr storrry», повторило существо. «For shillldrren».

Когда оно выговаривало «для детей», его пушистые уши пошевелились – сначала вверх-вниз, потом вкруговую, как у собаки. Я не могла прочесть никаких эмоций на его лице, но это вращение ушами внезапно показалось мне знаком серьёзных намерений. Существо как будто заверяло меня, что не издевается. Что предлагает мне честную сделку.

Я даже не стала интересоваться подробностями. Я опустила на корточки, зачерпнув ледяной воды обоими сапогами, и обхватила мохнатые запястья, торчавшие из мокрых велюровых рукавов. Пальцы на руках были тонкие, узловатые, почти без шерсти. Пять вполне чело-

веческих пальцев. Разве что указательный не примыкал к другим, как у людей. Он рос из собственного основания, примерно на одинаковом расстоянии от среднего и большого.

Существо не обмануло меня. Оно оказалось совсем лёгким, вряд ли тяжелей десятилетнего ребёнка, и это со всей мокрой одеждой. Я без труда взвалила его на спину и встала, скрестив его руки у себя на груди. Его щека, неожиданно горячая под влажной щетиной, прижалась к моему виску. Я слышала его дыхание – ровное, медленное – и чувствовала густой мускусный запах. Нельзя сказать, что он был неприятным – просто резким. Напоминал запах мокрой лошадиной шерсти, сдобренный слабым ароматом скунса.

Я понесла его вверх по течению, сквозь туман, осторожно хлопая по середине русла. Одежда сзади мгновенно промокла, и первые несколько минут меня даже колотил озноб, но вскоре ноша дала о себе знать. Мне стало жарко. Волочить десятилетнего ребёнка – тоже работа, особенно если он выше тебя ростом и цепляется ногами за камни. Особенно, если он парализован. Особенно, если это не ребёнок, а оживший тролль из «Старшей Эдды».

Мой лоб покрылся испариной. Щека моей ноши жгла мне висок.

И тогда, словно желая отвлечь меня от усталости, существо заговорило.

Они рождаются прямо под небом

– Что ты знаешь об исландских лошадях? – спросило оно.

– Об исландских лошадях?..

Я чуть не споткнулась о булыжник, торчавший из воды.

Туман заметно потемнел. До полноценных июльских сумерек оставалось не меньше часа, но ущелье явно сузилось. Берега ручья карабкались в гору уже в паре шагов от воды.

– Они... исландские... – я поковыляла дальше, вспоминая табуны гривастых лошадок вдоль кольцевой дороги. – Маленькие, хорошенькие... Моя дочь хотела исландскую лошадь... У них в классе три наездницы... Чрезвычайно увлечённые девочки... Насовали ей этих шведских книжек... Про девочек и лошадей... Полгода ныла: «Мама, мама, а папа говорит, ты теперь известная, у тебя есть лишние деньги, давай купим лошадку»... Я говорю: «Давай ты сначала в седле научишься сидеть»... Записала её на курсы верховой езды... Она походила три месяца, и всё – надоело...

– Хорошо, – голос моей ноши внезапно упал на октаву и зазвучал почти зловеще. – Хорошо, что надоело сразу.

– Да... – согласилась я, сама не зная с чем.

– Они рождаются прямо под небом, – сказала существо своим прежним голосом. – Это первое, что нужно знать. Здесь, у Скагафьорда, в долинах Трётласкаги, они рождаются прямо под небом. Весной, когда тает снег у подножия гор, люди открывают зимние стойла. Лошади выходят на свободу. Кобылы жеребятся на молодой траве, рано утром, в сумерках, пока солнце ещё поднимается за ледником.

В это время стихает ветер. Табун окружает роженицу неровным кольцом. Он ждёт появления жеребёнка. Лошади стоят на почтительном расстоянии, не шевелясь, и только изредка встряхивают гривами да переминаются, да жалобно всхрапывают, если роды проходят тяжело. Когда обрывается пуповина, мать разворачивается и склоняет голову над новорождённым. Она долго вглядывается, внюхивается в него и устало ржёт, если всё в порядке. Тогда все склоняют головы вместе с ней. Через минуту-другую табун расходится, не обращая внимания на людей, прискакавших оценить своё новое имущество.

Проходит час. Жеребёнок несколько раз пытается встать, и несколько раз ноги подводят его. Наконец у него получается. Какое-то время он стоит неподвижно, не зная, что делать дальше. Он поднимает голову и видит что-то тёмное, тёплое. Это мать. Рядом трясутся пятна поменьше. Это люди, оценивающие его. Мать терпеливо ждёт, а люди переглядываются, пере-

говариваются, посмеиваются, придумывают ему имя, предсказывают его будущее, но он ещё не знает, сколько всего зависит от этих чужих существ, он даже не различает их как следует, и он отворачивается.

Солнце полыхает над ледником. Лёд сверкает, с ним сверкают снежные шапки гор, сияет глубокое весеннее небо, и жеребёнок моргает и жмурится, пока его глаза привыкают к свету. Его мозг ещё не умеет различать очертания и оттенки, он только учится видеть этот мир в подробностях, и жеребёнку кажется, что он стоит под огромным пылающим куполом. Ему не страшно. С этого мгновения он знает, что мир должен быть бесконечным, он должен быть наполнен запахом травы и лошади, он должен журчать талой водой в ручье и вздрагивать под ногами от копыт молодых коней, задирающих друг друга.

Жеребёнок делает первые шаги. Находит вымя матери. Начинает сосать молоко.

Люди удовлетворены. Они отходят, забираются в сёдла и едут домой, больше не думая о жеребёнке. Они дали ему имя и уже решили, на что он сгодится через четыре года, когда настанет время его объезжать. Они предсказали, насколько ровным будет его тельт. Прикинули, сколько денег можно будет выручить за него у заезжих покупателей. Людям нравится знать чужое будущее.

Так рождаются лошади у Скагафьорда, в долинах Трётласкаги. Так родилась рыжая Фрея с белой проточиной.

Ужасная чепуха

– Что ты знаешь о скрытом народе? – спросило меня существо, прервав свой рассказ.

Теперь я не могу вспомнить, на каком языке оно рассказывало историю Фрейи. Помню, что понимала всё с полуслова, словно говорила с лучшей подругой или даже с дочерью, но совершенно не помню, что это были за слова, и кажется только, что среди них не было ни английских, ни норвежских, ни исландских – вообще никаких известных мне слов. И всё же готова поручиться: когда существо говорило о скрытом народе, оно называло его по-исландски. Hludufólk.

– Позавчера в Оулафсфьордюре... – я ненадолго остановилась, чтобы поправить свою ношу, сбившуюся набок. – Прошу прощения... Позавчера в Оулафсфьордюре я разговаривала с поселковым советом... Там был пожилой мужчина... Далеко за семьдесят... Огромная белая борода, седые космы во все стороны... Он уверял меня, что финансовый кризис – это месть скрытого народа за строительные работы в местах его компактного проживания... Говорил, нечего прокладывать везде дороги для туристов и долбить тоннели по десять километров... А я сижу, слушаю, смеюсь про себя... Какая же, думаю, иногда чепуха в голове у этих исландцев...

– Ужасная чепуха, – согласилось существо. – Но это не их вина. Откуда им знать, какие мы на самом деле?

– Значит, строительные работы вам не мешают? – спросил моим голосом оправившийся от шока журналист Марит Хенриксен.

– Нам не мешает неизбежное, – отрезало существо. – Люди – часть этого мира. Они живут, как умеют. Они меняются и страдают. Мы не живём. Мы смотрим и слушаем. Тот, кто не меняется и не страдает, имеет право только смотреть, слушать и вовремя отойти в сторону. Это первое, что нужно знать о скрытом народе.

Мы всю жизнь будем вместе

– Когда родилась рыжая лошадка с белой проточиной, – продолжило существо, – владелец табуна приехал в долину вместе с дочерью, бойкой девочкой четырнадцати лет. Её звали Катла. Она сидела в седле с раннего детства и знала о лошадях всё, что может знать о них

человек. Теперь, на исходе детства, она хотела узнать обо всём остальном, особенно о звёздах, которые мерцали над ледником по ночам, и о чёрной бездне между ними. Той зимой она выпросила у родителей любительский телескоп на день рождения. Она облазила сайты всех крупных обсерваторий и уже понимала, что однажды уедет в Рейкьявик, а потом ещё дальше – в Америку, Европу или даже в Чили, к самым большим телескопам на Земле. Но это было ещё впереди.

Пока отец поглаживал шею родившей кобылы, Катла присела на корточки и осмотрела жеребёнка. Она сказала отцу, что всё в порядке, жеребёнок скоро справится со своими ногами и пойдёт искать брюхо матери, но вот его собственное кривое брюшко не предвещает побед на турнирах. Отец кивнул. Он видел, что рыжая лошадка вырастет слишком приземистой, слишком ассиметричной, слишком мордастой, слишком гривастой, слишком неровной в тельте. Даже белая проточина на её морде была как будто смазана над носом. Вместо благородного украшения она казалась куском плохо приклеенного лейкопластыря.

«От этой дурнушки мы никогда не избавимся, – сказал отец. – Называй её, как хочешь».

Катла покачала головой.

«Я её назову Фрея. С таким именем невозможно стать дурнушкой. Она будет красивая и бесстрашная. Как богиня. Ну и пускай её никто не купит. Это будет моя лошадь. Мы всю жизнь будем вместе. Правильно я говорю, Фрея?»

Она снова присела на корточки, и через секунду жеребёнок почувствовал лёгкое прикосновение к своей голове. Он не знал, что это и кто это, но внезапно ему ещё сильнее захотелось подняться. Он собрался с силами, рванул вверх и, оторвавшись от земли, замер на дрожащих ногах. Откуда-то сверху и сбоку послышались бесформенные звуки. Впереди темнело пятно матери. Над головой, бесконечно выше всех пятен и разводов, пылала солнечная вселенная.

Как только жеребёнок начал сосать молоко, люди ушли. У них было много других лошадей и много других дел.

Вечером, на закате, посмотреть на новорождённую пришёл скрытый народ. Так бывает всякий раз, когда у Скагафьорда, в долинах Трётласкаги, появляется на свет рыжая кобылка с неровной белой проточиной.

Всё по-другому

– Многие люди верят, что звери чувствуют нас, – сказала существо, помолчав. – Если овцы на пустынном склоне приходят в беспокойство, если собака заливается лаем на безлюдной тропе, люди говорят: где-то рядом скрытый народ. Но это чепуха. Звери тоже часть этого мира. Они меняются и страдают. Как и люди, они не замечают нас, пока их не окликнули. И даже когда их окликнули, они видят не нас. Как и люди, они видят игрушку своего воображения. Случайную. Несуразную. Жалкую.

Помню, как на этих словах я невольно покосилась на мохнатые конечности, которые прижимала к своей груди. Почувствовала, что краснею. Подумала: лупоглазое чудище в шароварах – неужели это всё, на что способно моё воображение? Неужели мой мозг не мог сострять ничего поприличней?

– А как... Как вы выглядите на самом деле? – спросила я.

– Мы не выглядим. Как выглядит луна, когда на неё никто не смотрит?

В этом вопросе было что-то знакомое. Кто-то задавал его раньше, мне или в моём присутствии. Несколько секунд я пыталась вспомнить, где это было. В Копенгагене, в гостях у моего датского издателя? На случайном канале в гостиничном телевизоре? В университете, на семинаре по философии четверть века назад?

– Никак... – ответила я, так и не вспомнив. – Мир, в котором нет зрителей, не выглядит никак. Он просто есть. Но... – я покачала головой, и горячая щетина моей ноши заскребла мне висок. – Это же касается всех... Не только вас...

– Здесь, на Земле, зрителей нет только у нас. Только нас не застают врасплох чужие глаза. Когда мимо тебя идёт человек или бежит лиса, и ты видишь их, твой мозг рисует своими красками. Но он рисует на готовом холсте. Поверх чужого наброска. Он красит, штрихует, обводит то, что снаружи. Когда тебя окликают скрытый народ, всё по-другому. Перед тобой нет никакого холста. Твой взгляд отскакивает, словно от зеркала. Ты раскрашиваешь то, что внутри тебя.

Внезапно ущелье и ручей свернули налево. Я не сразу заметила поворот и, выйдя из воды, чуть не уткнулась в каменную стену, покрытую редкими клочками мха. Угол склона стал почти прямым. Я посмотрела вверх. Размытая лента неба отодвинулась ещё дальше. Я несла своё чудовище по дну каменного коридора высотой с десятиэтажный дом.

Так уже было прежде

– Мы стоим в стороне, – продолжило существо, пока я возвращалась в русло. – Мы не меняемся и не страдаем. Но мы чувствуем... – оно сказала короткое слово, означавшее светлую грусть, любопытство и то зыбкое чувство, которое бывает июньской ночью, если смотреть на зарю. Я очень хотела запомнить это слово или хотя бы язык. Но я забыла.

– Когда в долинах Трётласкаги рождается рыжая кобылка с неровной белой проточиной, нас охватывает надежда. Мы знаем, что есть шанс. Примерно раз в сотню лет происходит невероятное. В той связке лошадиных генов, где записана рыжая масть и косая отметина, неизвестно откуда берётся ген, которого не должно быть ни у одной живой твари на Земле.

Лошадки, родившиеся с этим геном, видят, слышат и чувствуют нас без оклика. Поэтому мы нарушаем правила. Мы приходим к ним. Это непростительный риск. Это вторжение в жизнь тех, кто меняется и страдает. Но мы не можем удержаться. Нас гонит... – существо повторило то прекрасное слово, которое я забыла. – Мы слишком сильно хотим знать, как мы выглядим, когда нас видят.

В тот вечер нас было трое. Мы пришли на закате, когда табун уже притих и ждал ночи. Крохотная лошадка, не зная, что люди называли её Фрея, лежала на траве рядом с матерью.

Мы подошли совсем близко. Мы приготовились ждать. Сначала жеребёнок не отличал нас от остального мира. Мы были ещё одной гроздьёю пятен. Ещё одной цепью невнятных звуков. Ещё одним запахом среди тысячи запахов весенней долины.

Но долго ждать не пришлось. Небо по-прежнему догорало над ледником, когда стало ясно, что мы надеялись не зря. Глаза новорождённой замирали, наткнувшись на нас. Её уши шевелились, когда мы говорили друг с другом. Её ноздри снова и снова целились в нашу сторону, пытаясь втягивая воздух.

Мы простояли возле рыжего жеребёнка с белой проточиной всю ночь. Мы смотрели, как лошадь-мать ласкает горячим носом и кормит горячим молоком самое зрячее существо на Земле. В ту ночь мы ещё не могли посмотреть на себя глазами Фрей. Нам предстояло возвращаться, учиться и снова ждать, но теперь, когда лошадка уже родилась, ждать оставалось совсем недолго. Всего два-три земных года, коротких и призрачных, как детство, которое кончилось.

Так уже было прежде. Семь раз у Скагафьорда появлялась на свет зрячая лошадь. Семь раз мы учились смотреть на себя её глазами. Семь раз мы беспечно нарушали правила, и это сходило нам с рук. Наша осторожность притупилась. Мы начали забывать, что нельзя ничему научиться, не изменившись. А тому, кто меняется, однажды придётся страдать.

Мы знаем этот сюжет

– Но я не понимаю, – не выдержала я. – Разве скрытый народ... Разве вы сами не видите друг друга?

– Взгляни на свои руки, – ответила моя ноша. – Видишь малиновые пятна вокруг костяшек? А тёмные веточки вен – видишь их? А движения – смотри, какие слитные движения. И кожа – сплошная, гладкая.

– Вижу... – про себя я отметила, что на безымянном пальце левой руки есть ещё и рваная царапина с подсыхающей кровью.



– Это рассказ.

– Рассказ?..

– Видеть мир – значит рассказывать его. Краски, движения, отдельные предметы с чёткими краями – это слова. Все твои ощущения – это слова языка, на котором твой мозг рассказывает себе реальность. Вспомни, как ты обходишься с жизнью у себя в книгах. Ты выдёргиваешь аккуратные сюжеты из бессюжетного хаоса. Ты опускаешь миллионы подробностей. Ты никогда не пишешь о том, для чего не находишь описания.

– Но ведь слова моего языка – это случайность. Я могла бы писать другими словами. Китайскими... Арабскими...

– Твои ощущения – такая же случайность. Ты могла бы видеть магнитное поле. Слышать очертания предметов. Чувствовать их вес, не прикасаясь к ним. Даже здесь, на одной крошечной Земле, живые существа рассказывают себе мир по-разному. У каждой твари свои слова. Свои сюжеты. Свои миллионы опущенных подробностей.

– Значит, вы не рассказываете... – наконец поняла я. – Вы... – несколько мгновений я подыскивала уместный глагол, – вы воспринимаете реальность... напрямую? Целиком? Без... упрощений? Без промежуточных символов? Со всеми-всеми-всеми подробностями... Но... Но... Как такое вообще возможно?

Помню, меня почему-то захлестнуло возмущение. Может быть, мне казалось, что существо обманывает меня.

– Как же вы тогда чувствуете эту вашу ..., – я сказала то чудесное слово, которое не могу вспомнить теперь, – если у вашей реальности нет сюжета? Если мир для вас просто есть – и всё? Ведь любые чувства – это же часть... Ведь чувства вообще немислимы, если выдрать их из сюжета! Чувства бывают только в рассказе! В рассказе о существах, которые рождаются и умирают, а в промежутке хотят невозможного...

– Да, – неожиданно тихо согласилась моя ноша. – Мы хорошо знаем этот сюжет. Просто однажды мы придумали другой.

– Как «придумали другой»?.. Какой другой?

Существо не ответило на мой вопрос.

– Теперь ты знаешь всё, что тебе надо знать о скрытом народе, – сказала оно. – Вопросов и ответов больше не будет. Иначе я не успею рассказать историю Фрей.

Доступный участок неба

– Катла, дочь владельцев табуна, дала слово, что не бросит Фрею. Четыре года, бесконечно долгих для подростка, влюблённого в звёзды, она хранила своё обещание.

Ещё до первой зимы она крепко привязалась к нескладной лошадке. А когда Земля обернулась вокруг Солнца и снова пришла весна, Катла уже не могла решить, кто ей дороже – смешная рыжая Фрея или серебряный красавец Мауни, послушно возивший её с того дня, как ей исполнилось двенадцать.

Катла любила всех лошадей своей семьи, даже самых строптивых и нелюдимых. Она понимала их, а тот, кто понимает, не может не любить хотя бы чуть-чуть. Она понимала и Фрею – понимала лучше, чем смог бы понять любой другой человек на Земле. В рыжей лошадке было что-то постороннее, непривычное, и Катлу не отпускало беспокойное любопытство, которое вечно делает из маленькой любви большую.

Они виделись по выходным, когда у Катлы не было уроков или работы в посёлке. У Скагафьорда, в долинах Трётласкаги, лошади рождаются и живут на свободе, под распахнутым небом. Иногда они уходят от своих зимних конюшен на десятки километров. Чтобы добраться до табуна к полудню, Катла седлала добродушного Мауни сразу после завтрака.

Она брала с собой бутерброды с овечьим сыром и двухлитровый термос кофе. Чтобы скоротать время в пути, она слушала музыку, которую слушают подростки в зажиточных странах северного полушария, или книги о космосе, начитанные бархатистыми американскими головами. Она знала, что может положиться на Мауни. Он умел отыскивать табун в любой долине, в любую погоду. Катле оставалось только смотреть туда, где сходились земля и небо, и подпевать песням, звеневшим в наушниках, и повторять за чтецами книг самые главные, самые красивые слова, словно это были заклинания, которые могли менять будущее:

«Плоскость эклиптики».

«Гравитация».

«Красное смещение».

«Сверхскопление Девы».

«Вселенная».

Рано или поздно Мауни начинал радостно фыркать и ускорял шаг. Ещё один изгиб долины – и Катла различала вдалеке пёстрые фигурки. Некоторые из них носились туда-сюда, то сталкиваясь, то разбегаясь во все стороны. Это играли молодые жеребцы, пьяные от юности и свободы. Другие фигурки почти не двигались. Это щипали траву взрослые кобылы. К ним жались фигурки поменьше – жеребята, ещё не научившиеся жить без матерей.

Через минуту-другую Катла видела Фрею.

Пока Фрея держалась матери, её странность не бросалась в глаза. Она была чуть ласковей, чуть отзывчивей и как будто смышлёней многих. Но Катла знала таких лошадей и раньше. Она пыталась и никак не могла объяснить себе, почему этот нескладный жеребёнок – единственный в своём роде.

Потом, когда Фрея отвыкла от матери, разница стала заметней. Фрея часто стояла одна, в стороне от сверстников и старших. На первый взгляд она казалась потерянной, даже брошенной, но Катла скоро поняла, что это впечатление обманчиво.

Как-то в августе, на третий год жизни Фреи, Катла отправилась в путь не с утра, а ближе к вечеру. Вместо своего рюкзачка она взяла старый походный рюкзак отца. Она набила его тёплой одеждой и упаковала в неё свой телескоп. Потом привязала к седлу Мауни мешок с палаткой. Сделала в два раза больше бутербродов, сварила два термоса кофе, взяла три баночки скира. Сказала родителям, что останется ночевать в горах. Там, надеялась Катла, будет проще поймать хотя бы пару часов ясного неба. Уже две недели над Скагафьордом висели серые облака.

Мауни нашёл табун за полчаса до захода солнца – в горах Трётласкаги оно и правда сумело пробиться сквозь серую пелену. Как обычно, Мауни заторопился, зафыркал, затряс гривой, предвкушая встречу с друзьями. Но когда он обогнул щербатый кусок скалы, за которым начинался спуск в новую долину, и Катла увидела далеко внизу чёрно-рыжую россыпь лошадей, она приказала ему остановиться.

«Извини, Мауни, – шепнула она. – Потерпи немножко. Сейчас, сейчас мы спустимся к ним. Но сначала мне надо кое на что посмотреть».

Она спешила и достала из рюкзака телескоп. Закрепила его на штативе. Направила вниз, в долину.

Высмотреть Фрею было не трудно. Рыжая двухлетка с белой проточиной стояла на левом краю табуна, метрах в двадцати от ближайших лошадей, на берегу ручья, пересекавшего долину. С другой стороны ручья к ней подползала тень горы, за которую садилось солнце.

Катла подкрутила резкость. Вгляделась. Не поверила своим глазам.

Фрея была не одна. Вернее, она была одна – Катла не видела рядом с ней ни одного живого существа крупней букашки в желтеющей траве, – но она явно с кем-то переглядывалась, она отзывалась на чей-то голос, она приветливо мотала мордой и вытягивала шею навстречу чьим-то рукам. Она говорила с кем-то – как умела, по-лошадиному, без слов, одними глазами и движениями ушей, едва торчавших из косматой гривы, – но она точно с кем-то говорила. Катла не могла ошибиться. Когда Фрея встречалась с ней, она вела себя точно так же.

Минут десять, пока тень горы переползала ручей, Катла не могла оторваться от окуляра. Её переполнило чувство, которого она не знала раньше: невыносимо сладкая, вытягивающая жилы смесь благоговения перед чужой тайной, бессильного восхищения и безадресной ревности. Первый раз в жизни перед ней распахнулась пропасть, разделяющая всех живых существ во вселенной. Первый раз в жизни Катла чувствовала, как её мир, её единственный, бесценный мир простирается на миллиарды световых лет, уходит на тысячи веков в прошлое и будущее, но беспомощно обрывается у кромки чужого сознания. Она была Катлой, Фрея была Фреей, Мауни был Мауни, каждая живая тварь под каждым небом была только собой и никем другим, каждая тварь в отчаянье билась об стены своего бесконечного мира, каждая тварь жадно глядела в окуляр своего телескопа, застыв на краю своей пропасти, и никто, ни под каким небом, не мог ничего с этим поделать.

Тень горы перешагнула ручей и коснулась Фреи. Внезапно Катла поняла, что плачет. Она отёрнула голову от телескопа. Она не хотела пачкать стёклышко окуляра солёной жидкостью слёз.

«Всё, Мауни, – сказала Катла, убрав телескоп и штатив обратно в рюкзак. – Всё, мой хороший. Прости, что заставила ждать. Поехали».

Когда они спустились в долину, Катла расседлала Мауни и сказала ему, что он свободен до утра. Она поставила палатку на берегу ручья. Наскоро запихнула в рот бутерброд. Запила холодной водой.

Пока сумерки не сгустились до полноценной темноты позднего лета, Катла стояла у ручья, и рядом была Фрея – ласковая, смешная, единственная. Катла обнимала её. Перебирала косматую гриву. Гладила белую отметину на любимой морде. Рассказывала, что стряслось в посёлке и на Земле с тех пор, как они виделись в прошлый раз.

После наступления темноты Катла взяла рюкзак и осторожно поднялась на сотню метров по ближайшему склону. Нашла удобный выступ. Установила телескоп. Надела всю тёплую одежду, в которую он был упакован. Настроила камеру. Достала телефон, проверила свои координаты и доступный участок неба. Потом перешла на страницу, где записывала свои наблюдения.

До двух часов ночи, пока со стороны Акюрейри не набежали облака, она смотрела на небо. Кусок вселенной над её головой был тёплым, домашним. И вспышки обречённых Пер-

сеид высоко в атмосфере, и надёжная Вега, свет которой плёлся до телескопа двадцать пять лет, и весь Млечный Путь, раскинувшийся на тридцать тысяч парсеков, в ту ночь казались Катле ближе самых близких живых существ в её жизни. Ближе папы и мамы. Ближе Ирис, лучшей школьной подруги. Бесконечно ближе рыжей лошадки по имени Фрея.

Ты прекрасно всё понимаешь

– До четырёх лет лошади, рождённые у Скагафьорда, не знают седла. Они редко боятся людей, к ним можно подойти совсем близко, можно учтиво погладить им гриву. Но эта приветливость обманчива. Горе тому глупому туристу, что вздумает покататься на молодой, необъезженной лошади в долинах Трётласаги.

Катла не хотела, чтобы Фрея попала под седло. Когда пришёл Гисли, местный берейтор, и мать стала перечислять молодых лошадей, которых предстояло объездить в этом году, и под конец вспомнила рыжую коротышку с белой проточиной, Катла вмешалась в разговор.



«Но папа же говорит, что всё равно её никто не купит, – сказала она. – Росту в ней метр пятнадцать, брюхо висит, копыта заплетаются. Зачем Гисли зря тратить время? Зачем мотать нервы лошади? Оставьте её в покое».

Мать улыбнулась. Покачала головой.

«Папа твой ничего не понимает в современном рынке... Ингвар у нас как тот генерал из пословицы, – пояснила она, снова обращаясь к Гисли. – Вечно готовится к прошедшей войне. Всё думает, что мы растим только чемпионов для Ландсмоута. А у нас же половина покупателей кто? Европейские девочки с измученными родителями. Они тёлт от рыси отличить не могут. Что им вислое брюхо? Им только и надо, чтоб маленькая и хорошенькая. Чтобы грива во все стороны. Увидят нашу Фрею – и хлоп в обморок от умиления: «Oooo, she's so cute! Soooo cute! Мама, папа, я хочу такую!»

Гисли засмеялся, вежливо и невесело. Он был берейтором старой закваски. Когда брался за новую лошадь, всегда представлял себе, что готовит нового чемпиона для Ландсмоута. Солнце, флаги, толпа народу, лучшие кони Исландии – и вдруг выступает такой красавец, что все ахают. «Кто ж это выездил такого молодца?» «Гисли Бьорнссон, кто ж ещё?»

Несколько секунд Катла не могла найти слов.

«Продать Фрею чёрт знает кому?! – выдохнула она наконец. – Какой-нибудь избалованной шведской дуре? Ну мама, ну что ты вообще несёшь? Это же моя лошадь!»

Мама перестала улыбаться.

«И что, ты её в августе с собой возьмёшь? Когда в Рейкьявик учиться поедешь? В сумку запихнёшь, вместе с телескопом? Я гляжу, за избалованными дурами в Швецию ездить не надо...»

Катла посмотрела на мать с юношеской яростью, но промолчала. Парировать было нечем. Катла знала, что мать права.

«Ну, хватит ребячиться, – сказала мать, осторожно взяв её за локоть. – Ты же прекрасно всё понимаешь. Уроками езды по выходным ты на свой Беркли не заработаешь. Чтобы платить такие деньги, нужно продавать лошадей».

«Я получу стипендию, – привычно буркнула Катла, сама не зная зачем. – Через три года я получу стипендию».

«Обязательно получишь, – мать три раза примирительно сжала её локоть. – Ты у нас умница. Гисли, ты бы видел, какие она книжки читает. Я даже из названий половину не понимаю».

Гисли ухмыльнулся, вежливо и кисло. Он тоже любил умные книжки. Сидел над ними всё снежное время года. Тридцать лет назад мечтал учиться в Нью-Йорке. Но у его родителей не было табунов. У них не было даже общего дома. Отец ловил рыбу в Сейдисфьордюре, мать перебирала рыбу в Дальвике.

«Метр пятнадцать – это не конец света, – сказал Гисли. – Я Фрею помню. Крепкая лошадка. Поработаем с ней чуть-чуть – и хоть на Ландсмуот, хоть в Швецию».

Огромные карлики становились огромней

– На исходе лета, когда северный ветер уже хлестался холодным дождём, Катла уехала в Рейкьявик.

Накануне отъезда она пришла попрощаться с Фреей.

Гисли поработал на совесть. Сама Катла ни разу не седлала Фрею, но Андри, её двоюродный брат, объездил на рыжей лошадке все окрестности, и вечно нервная тетя Тинна ни капли не переживала за сына – так бережно Фрея таскала на себе девятилетнего мальчишку в громоздком шлеме.

Конечно, в движениях рыжей коротышки было мало изящества. Любой ценитель аллюра сказал бы, что она ковыляет, а не ходит, и что все попытки Гисли выправить это за следующее, пятое, лето обречены на неудачу. Гисли и сам всё понимал, когда не хорохорился. С одобрения хозяев, он готовил Фрею к терпеливой возне с детьми, а не к провалу на любом турнире.

Когда Катла приехала прощаться, Фрея стояла у деревянной ограды, окружавшей просторный загон для лошадей, которые жили на Земле четвёртое или пятое лето. Был вечер. Гисли уже уехал домой, забрав с собой неугомонного Андри, чтобы сдать его тёте Тинне – из рук в руки.

Сверстники Фреи толпились у дальнего края загона. Там же махал телефонами выводок туристов. Туристы прикатили на двух прожорливых внедорожниках по грунтовому отростку Кольцевой. Родители Катлы проложили дорогу для потенциальных покупателей, но компания, махавшая телефонами, конечно же, не собиралась ничего покупать. Она остановилась погалдеть и поахать на каком-то языке. Поснимать себя на фоне хорошеньких лошадок и водопада, что лился со скалы по другую сторону загона.

Катла спешила. Пролезла под оградой. Подошла к Фрее. Погладила белое пятно на внимательной морде.

«Я завтра уезжаю, – сказала она. – Надолго».

Фрея пошевелила ушами.

«Я буду учиться, – сказала Катла. – Чтобы лучше смотреть на звёзды».

Фрея понюхала рукав её ветровки. Ткнулась носом в локоть.

«Я хочу знать, как всё началось, – сказала Катла. – И чем всё кончится. Там, наверху, есть подсказки. Я буду учиться их искать».

Фрея тихонько фыркнула. Переступила с копыта на копыто. Оглянулась, словно проверяя, на месте ли скала с водопадом. Потом выгнула шею и как будто подтолкнула Катлу в бок.

«Что ты?» – не поняла Катла.

Фрея развернулась и засемила к водопаду.

Катла побежала за ней.

Вместе они пересекли загон и остановились у ограды. Теперь водяной столб ревел и дымился всего в десяти метрах от них. Катла невольно поморщилась. Мелкие ледяные брызги показывали лицо.

Между оградой и берегом бурлящего ручья, начинавшегося у водопада, мокла каменная площадка шириной в несколько шагов. На ней пробивалась трава, валялся обрывок верёвки, белела выцветшая пачка из-под сигарет. Больше там ничего не было – вернее, Катла больше ничего там не видела, но Фрея не отрываясь глядела именно туда, на редкие травинки и ключья мха среди мокрых камней.

«Что это? – громко спросила Катла сквозь шум воды. На несколько секунд она напрочь забыла, что разговаривает с лошастью. – Что ты видишь?»

Ей стало не по себе. Стало до головокружения жутко, словно она разглядывала звёздное небо из уютного далёка, через безопасные стёклышки телескопа, но вдруг всё перевернулось, звёзды очутились внизу, небо оказалось бездной, и телескоп сорвался в эту бездну вместе со штативом, камерой и компьютером, а ещё пару секунд спустя она сама рухнула вслед за телескопом, и аккуратные острые точки, высокомерно названные разноцветными карликами, начали расти, превращаясь в лохматых термоядерных чудовищ, на которых невозможно было смотреть. Но она смотрела, потому что веки больше не смыкались – век больше не было, не было даже глаз, осталось только страшное нечеловеческое зрение, обречённое видеть весь электромагнитный спектр, каждый распад атомного ядра, каждую гравитационную складку в пространстве, каждое квантовое рождение ещё одной бесконечной вселенной.

«Что ты видишь?» – повторила Катла шёпотом.

Она продолжала падать, огромные карлики становились всё огромней, среди них показалась тусклая горошина – чудовище поменьше, выгоревший белый карлик под боком у дряблого красного гиганта. Он жадно высасывал материю соседа и тяжелел, подбираясь всё ближе к пределу Чандрасекара, и за мгновение до начала цепной реакции Катла успела понять, что сейчас произойдёт: карлик взорвётся, вспыхнет ярче пяти миллиардов солнц, и во все стороны полетят его ошмётки – углерод, из которого однажды сложится её тело, и кислород, которым это тело будет дышать. Как только реакция началась и сияние сверхновой затопило половину бездны, Катла увидела, что взрыв не один. Насколько хватало её нечеловеческого зрения – а его хватало на бесконечность – повсюду вспыхивали сверхновые, и через миллиарды лет, то есть в то же мгновение, повсюду кончалось лето в северном полушарии третьей планеты звезды типа G2V, и на исходе этого лета, у стыка тектонических плит, на базальтовом острове, возле воды, падающей со скалы, повсюду стояли два живых существа, человек и лошадь, а рядом, за изгородью – что-то или кто-то ещё.

Катла не видела его, но знала, что оно не живое, потому что не может умереть. При этом оно могло смотреть – и смотрело прямо на неё. Оно разглядывало её, Катлу, в каждой из её бесчисленных вселенных и видело целиком: от первых проблесков эпизодической памяти до угасания под натиском Альцгеймера – нет, после столкновения с грузовиком в Сантьяго – да нет же, после раковой боли и долгожданной инъекции в швейцарской клинике – после короткой борьбы с новым штаммом гриппа – после бешеного страха в падающем самолёте – после тысячи разных сценариев с одинаковой концовкой.

«Are you OK?», услышала она, когда на мгновение перестала кричать, чтобы набрать в лёгкие воздуха для нового крика.

«Are you OK? Why are you screaming? Are you OK? Can we help you?»

Катла повернула голову. Рядом стояла запыхавшаяся девушка, её ровесница, – высокая, полноватая, в шерстяной кофте из сувенирной лавки, с большим веснушчатым лицом. Она добежала первой. Её спутники подбегали следом: долговязый мальчик-подросток, за ним сидящий мужчина с какой-то палкой в руке, за ним сухопарая женщина с аптечкой. За женщиной семенили ещё три человека, но они отстали на половину загона, и Катла не рассмотрела их в подробностях.

«Yes, yes, I'm OK», ответила она, поворачиваясь к Фрее.

Фрея по-прежнему смотрела на площадку между оградой и водопадом. Её уши внимательно шевелились. Там, куда падал её взгляд, были камни, воздух, брызги, обрывок верёвки и выцветшая пачка из-под сигарет.

Катла в последний раз провела ладонью по рыжей шерсти на её спине. Потом повернулась к подоспевшим туристам.

«I'm OK», повторила она, не глядя в их лица. «I'm sorry. Thank you.»

Она сорвалась с места, обогнула туристов и побежала прочь – к Мауни, который ждал по другую сторону загона.

«I'm sorry!» ещё раз крикнула она на бегу, не оборачиваясь. «I'm sorry! I have to go!»

Нужно было вернуться домой. Собрать несобранные вещи. Попытаться заснуть хотя бы на пару часов. Они с матерью планировали выехать в Рейкьявик не позже семи утра.

Она знала, что не вернётся

– В Рейкьявике Катла задержалась всего на год.

За тот год она впервые сильно влюбилась в человека и овладела разделами математики, без которых не читаются подсказки, разбросанные в небе. Она научилась просыпаться и жить с тем, что люди неряшливо называют «разбитым сердцем». Научилась понимать формулы, говорящие о вселенной то, что не под силу словам и воображению. Привыкла терпеть тесные сутки между минутами счастья.

Несколько раз она ездила домой, в сонный посёлок у Скагафьорда на краю Трётласкаги. На Рождество провела дома целую неделю. Безвылазно сидела в своей комнате на втором этаже, не выключая компьютер и обложившись учебниками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.